



И. В. Немировский

ДЕКАБРИСТ ИЛИ СЕРВИЛИСТ?

(Биографический контекст стихотворения
«Арион»)

По своей устойчивости и распространенности миф о «Пушкине-декабристе» сравним только с противоположным по содержанию мифом о «Пушкине-сервилисте», или, как деликатно выразился А. Блок, «Пушкине — друге монархии»¹.

Естественно, что обе эти точки зрения на пушкинскую личность, при всей их взаимной враждебности, имеют в виду примерно одинаковый набор обстоятельств жизни поэта и его произведений. Ни одна из них не обходится без рассказа о свидании Пушкина с императором Николаем I в Петровском замке в сентябре 1826 г., без анализа осложнившихся взаимоотношений поэта с друзьями в 1827—1829 гг., без обращения к обстоя-

¹ Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 6. С. 160.

тельствам путешествия на Кавказ в 1829 г., без изучения последних лет жизни Пушкина. Очень часто интерпретация пушкинских произведений существенным образом зависит от того, внутри какой биографической парадигмы они рассматриваются. Так, например, «Медный всадник» может быть оценен как «апофеоз Петра» и абсолютизма вообще в рамках мифа о «Пушкине — друге монархии» или же как аллегория декабрьского восстания в рамках мифа «Пушкин — несостоявшийся декабрист». «Медный всадник», пожалуй, один из наиболее ярких примеров того, насколько жестко оценка произведения зависит от характера приписываемого ему биографического контекста. Но лишь очень немногие пушкинские тексты определенно и долговечно относятся только к какому-нибудь одному мифу. Любопытно при этом, что миф о «Пушкине-сервилисте» характеризуется более устойчивым набором соответствующих ему произведений. Так, по крайней мере до сих пор, никому не удалось оспорить, что в стихотворениях «Стансы», «Друзьям», «Герой», «Бородинская годовщина» Пушкин выказал свои симпатии просвященному абсолютизму. Более сложно обстоит дело с произведениями, соответствующими альтернативному мифу о Пушкине как тайном декабристе. Здесь, в особенности в последние годы, пушкиноведы не оставили ничего бесспорно относящегося к этому и только к этому мифу. Даже «Послание в Сибирь», — казалось бы несомненное проявление декабристских симпатий Пушкина, — было недавно рассмотрено как призыв декабристам надеяться на царскую милость².

И только стихотворение «Арион», единственное до последнего времени, сохраняло репутацию своеобразного поэтического манифеста, в котором Пушкин выразил свою верность декабристам. Более того, это произведение традиционно рассматривается как обобщение размышлений поэта о собственном месте среди декабристов. Все в нем как будто дает основания именно для такого прочтения: написанное 16 июля 1827 г., три дня спустя после первой годовщины казни декабристов, стихотворение связано со многими декабристскими замыслами поэта. От этого общего положения некоторые исследователи делали следующий шаг и пытались рассмотреть «Арион» как аллегорическое изображение декабрьского восстания; даже всерьез поставлен вопрос, кого же Пушкин имел в виду под «кормщиком умным»: Пестеля или Рылеева?³

² См.: *Непомнящий В. С.* Поэзия и судьба. М., 1987. С. 88—127.

³ См., например: *Розанов И. Н.* Пушкин — певец свободы // *А. С. Пушкин: Материалы юбилейных торжеств.* М.; Л., 1951. С. 112; *Рождественский В. А.* Читая Пушкина. Л., 1962. С. 153—158.

Относительно недавно общий ход продекабристских интерпретаций стихотворения был нарушен скептическим замечанием В. В. Пугачева, исследователя, давно и плодотворно развивающего тему «Пушкин и общественное движение»: «Декабристы явно не узнали себя ни в „пловцах“, ни в „кормщике“. Анонимность „Ариона“ не могла обмануть сибирских мучеников. Публикация в „Литературной газете“ делала для них авторство совершенно прозрачным. Не узнать „таинственного певца“ они не могли. Никто из современников не увидел в стихотворении аллегорического изображения декабристов»⁴.

Утверждение В. В. Пугачева о «прозрачности» авторства «Ариона» не кажется нам бесспорным. Вопросы о том, почему Пушкин опубликовал стихотворение, во-первых, только три года спустя после его написания и, во-вторых, анонимно, не просты, и мы предполагаем вернуться к ним в конце нашей работы. В целом же мысль исследователя представляется совершенно справедливой: аллюзионное, узкоаллегорическое восприятие «Ариона» было чуждо современникам поэта.

Эта точка зрения не была доминирующей и в научном пушкиноведении до того момента, как в нем сложились те две альтернативные парадигмы, о которых речь уже шла. Однако уже в начале 1920-х годов утверждение Л. С. Гинзбурга о том, что «весьма возможно, что „Арион“ никакого отношения к декабристам не имеет и, создавая его, Пушкин думал только о поэте»⁵, вызвало энергичные возражения Ю. М. Соколова, Н. Н. Фатова, В. В. Леоновича-Ангарского, Н. К. Пиксанова и некоторых других советских литературоведов, присутствовавших на выступлении Л. С. Гинзбурга. Дело в том, что и приведенная выше, и многие другие интересные мысли Гинзбурга об «Арионе» были изложены им не в статье, а в устном сообщении, прочитанном на заседании Пушкинской комиссии Общества любителей российской словесности в 1924 г. Если бы доклад был опубликован, то, возможно, не было бы необходимости в настоящей статье. Однако выступление Гинзбурга было забыто и о его содержании можно только догадываться, причем не столько по крайне конспективному, скупому изложению его в «Хронике», сколько по гораздо более пространно представленным там замечаниям его оппонентов. Обратившись к рукописи стихотворения, хранившейся тогда в Румянцевском музее, ученый обратил внимание на «стремление поэта переделывать текст, напр., замена слов „нас“ словом „их“ <...> или замена „я“ на

⁴ Пугачев В. В. Из эволюции мировоззрения Пушкина конца 1820-х — начала 1830-х годов («Арион»)//Проблемы истории, взаимосвязей русской и мировой культуры. Саратов, 1983. С. 52—53.

⁵ См.: Хроника//Пушкин: Сб. 1/Ред. Н. К. Пиксанов. М., 1924. С. 291.

„он“. <...> Получается впечатление, — отмечал докладчик, — что поэт хотел затушевать свою связь с декабристами, если стихотворение имело их в виду»⁶.

К смыслу тех изменений, которые Пушкин вносил в употребление личных местоимений, мы еще вернемся. Здесь же хотелось бы подчеркнуть, что именно текстологические наблюдения над стихотворением менее всего укладываются в рамки «декабристской» интерпретации «Ариона». Помимо того, что уже сказано об этом Гинзбургом, нам бы хотелось обратить внимание на историю изменений строки 13 стихотворения.

Первоначально в беловом автографе (единственном сохранившемся) она звучала так: «Гимн избавления пою» (III, 593). Затем в первом слое правки строка приобрела следующий вид: «Я песни прежние пою» (III, 593), а при последующем исправлении изменилась еще раз: «Спасен Дельфином, я пою» (III, 593). В последнем, третьем, слое поправок Пушкин самым существенным образом переработал все стихотворение, повсюду, где это было необходимо, заменив форму первого лица на третье: «Их было много на челне...» (III, 593) вместо «Нас было много на челну»; «А он — беспечной веры полн» вместо «А я, беспечной веры полн»; «Пловцам он пел» вместо «Пловцам я пел»; «Лишь он — таинственный певец» вместо «Лишь я — таинственный певец». Любопытно, что и из тринадцатой строки «Спасен Дельфином, я пою» «я» было исключено, однако глагол сохранил личную форму первого лица, получилось: «Спасен Дельфином, пою». В окончательном варианте текста строка была снова изменена, приобретя привычное для нас звучание: «Я гимны прежние пою» (III, 58).

Колебания Пушкина в выборе строки 13 не прошли мимо внимания исследователей. Так, Т. Г. Цявловская, принадлежавшая к числу активнейших создателей мифа о «Пушкине-декабристе», писала об этом следующим образом: «Исследователь не может не остановить своего внимания на том, что самый ударный, выразительный стих „Ариона“ — „Я гимны прежние пою“ — появился в тексте далеко не сразу. Три известных нам варианта 13-го стиха, написанные в 1827 г., были заменены впоследствии тем стихом, ради которого, казалось бы, написано стихотворение. Когда? Быть может, только в 1830 г., перед публикацией стихотворения в „Литературной газете“ в том окончательном виде, который всегда и печатается? — Сказать трудно»⁷.

⁶ Там же.

⁷ Цявловская Т. Г. Отклики на судьбы декабристов в творчестве Пушкина // Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 210.

Как видим, хотя Т. Г. Цявловская и признает ключевое значение строки 13 «Ариона» (стих, ради которого, казалось бы, написано стихотворение), она даже не пытается ответить на вопрос, чем определены колебания поэта в ее выборе.

Не дал объяснения этому обстоятельству и Ю. П. Суздальский, с методологической точки зрения безусловный протагонист Т. Г. Цявловской. В своем исследовании, посвященном реконструкции культурного фона стихотворения, он только констатировал, что Пушкин в работе над стихотворением постепенно удалялся от античного мифа об Арионе и что окончательный вариант, кроме мотива чудесного спасения поэта, не содержит ничего общего с историей о рапсode, спасенном чудесной силой своего искусства⁸. Это, может быть, чересчур категоричный вывод, поскольку и в своем окончательном виде пушкинское стихотворение содержит общий с мифом мотив «спасения из морской стихии», не говоря уже о том, что в обоих случаях речь идет о певцах, поэтах. Но, конечно, важно, что античный миф содержал не только мотив спасения (кстати, ни о какой буре речи в нем не идет), но и образ чудесного спасителя — Дельфина, — присутствующий в промежуточных вариантах стихотворения, но исключенный из окончательного текста.

Наиболее же содержательные отличия пушкинского «Ариона» от древнегреческого мифа таковы:

1. В мифе рапсод Арион, возвращаясь на корабле с поэтического состязания, на котором он выиграл крупный денежный приз, попадает к разбойникам. У Пушкина поэт на «чолне» находится среди друзей и единомышленников.

2. В мифе разбойники покушаются на имущество и жизнь Ариона. У Пушкина источником общей, а не только для поэта, опасности является внезапно налетевшая буря.

3. Арион спасается, получив от разбойников разрешение исполнить свой гимн. Пение рапсода привлекает дельфина. Таким образом, вся история обретает особое дидактическое звучание: оказывается, что поэт избавляется от опасности силой своего искусства. Именно здесь Пушкин проявляет наибольшие колебания, раздваиваясь между желанием объяснить спасение «таинственного певца» вмешательством чудесного спасителя («Спасен Дельфином, я пою») или же просто действием слепых сил судьбы, которые случайно пощадили его одного. Последнее объяснение находится в наиболее резком противоречии с содержанием античного мифа, поскольку элиминирует не только

⁸ Суздальский Ю. П. «Арион» Пушкина // Литература и мифология. Л., 1975. С. 7.

роль чудесного спасителя, но и мотив спасительной силы са-мого искусства.

4. В древнегреческой истории Арион, принесенный дельфином к берегам Коринфа, был радостно встречен здесь местным тираном Пелиандром. У Пушкина же этот мотив «радостной встречи» полностью отсутствует, и это значимо, поскольку стихотворение включает в себя описание берега.

5. И наконец, в пушкинском стихотворении «гроза» («вихорь шумный») является не только источником опасности, но одновременно и средством спасения («на берег выброшен грозою»). Таким образом, в стихотворении выстраивается некоторая цепь случайностей: неожиданна как сама буря, так и спасение от нее. Это совмещение неожиданностей парадоксально усложняет всю ситуацию, подчиняя ее каким-то таинственным законам (отсюда «таинственный певец»).

Нам представляется, что колебанием в решении вопроса о том, кому именно поэт обязан своим спасением, слепым силам судьбы, персонифицированным в образе «грозы», или же чудесному спасителю-«Дельфину», связано возникновение другой, столь же непростой проблемы выбора между «Гимном избавления» и «песнями (гимнами) прежними». «Избавление» предполагает более тесную связь с чудесным спасителем.

Чем же определены пушкинские колебания? Очевидный ответ: динамикой судьбы поэта, по крайней мере тех ее трех лет, которые отделили время написания стихотворения от времени его публикации. Между тем в многочисленных работах, посвященных «Ариону» и написанных в рамках биографического подхода, не дается сколько-нибудь убедительного объяснения этим колебаниям. И не только потому, что большинство советских исследователей, занимавшихся «Арионом», разделяли миф о «Пушкине-декабристе». Мы попробуем изложить свою версию биографического контекста, значимого для понимания «Ариона», но нам важно это не столько для новой интерпретации стихотворения, сколько для выявления того, что не поддается объяснению ни в рамках любого из двух мифов о Пушкине, ни в рамках узкобиографического подхода вообще.

*
* * *

Во второй половине июня 1826 г. поэт получает от П. А. Вяземского письмо, где впервые утверждается, что Пушкин «остался цел и невредим в общую бурю», — вывод, целиком определенный тем обстоятельством, что следствие по де-

лу декабристов практически закончено и Пушкин не был к нему привлечен. Значит, считает Вяземский, Пушкин *теперь* вправе обратиться с письмом к императору: «На твоём месте <...> я <...> сознался бы в шалостях языка и пера с указанием, однако же, что поступки твои не были сообщниками твоих слов, ибо ты остался цел и невредим в *общую бурю*; обещал бы впредь держать язык и перо на привязи» (письмо от 12 июня 1826 г.— XIII, 285; курсив мой.— И. Н.).

С того времени, когда Пушкин узнает о масштабах декабрьской катастрофы и правительственных репрессиях, с ней связанных, его постоянно преследуют два противоречивых чувства: негодование на правительство и желание обратиться к императору с просьбой о прекращении собственного изгнания. Сделать это впрямую мешает идущее по делу декабристов следствие. Поэт понимает, что обратиться к императору непосредственно можно будет только тогда, когда будет установлена его невиновность (или степень вины не будет признана большой). В письмах мотивы «опасения» и «оправдания» постоянно связаны. «Я человек мирный. Но я беспокоюсь — и дай Бог, чтобы было понапрасну» (А. А. Дельвигу — 20-е числа января 1826 г.— XIII, 256); «Все-таки я от жандарма еще не ушел, легко, может, уличат меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвиненных...» (В. А. Жуковскому. 20-е числа января 1826 г.— XIII, 257).

Письмо к Жуковскому интересно, во-первых, выражением вызывающей независимости: «Теперь положим, что правительство и захочет прекратить мою опалу, с ним я готов условливаться (буде условия необходимы), но вам решительно говорю не отвечать и не ручаться за меня. Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною правительства...» (там же). При этом Пушкин прекрасно понимает, что читать его письмо будет отнюдь не только Жуковский (отсюда признание в «неблагоразумности» послания). Во-вторых, тем, что здесь впервые ясно выражается желание Пушкина рассчитывать на «счастье», т. е. на счастливый случай («Письмо это неблагоразумно конечно, но должно же доверять иногда и счастью» — там же).

В январе 1826 г., когда писалось это письмо, Пушкин весьма далек от того, чтобы идти на серьезные уступки по отношению к правительству. В дальнейшем эта позиция будет меняться, и поэт сначала попросит Жуковского показать цитированное выше письмо Н. М. Карамзину, а затем императору. Уже в начале февраля 1826 г. в письме к А. А. Дельвигу Пушкин сознается в том, что готов «*вполне и искренно* помириться с правительством» (XIII, 259).

При этом 12 апреля Жуковский пишет ему чрезвычайно резкое письмо, где прямо говорится: «В теперешних обстоятельствах нет никакой возможности ничего сделать [для тебя] в твою пользу <...> не просись в Петербург. Еще не время» (XIII, 271). Намерение Пушкина обратиться к правительству с письмом, формально адресованным Жуковскому, не вызвало никакого сочувствия последнего: «Я никак не умею изъяснить, для чего ты написал ко мне последнее письмо свое. Есть ли оно *только ко мне*, то оно странно. Есть ли ж для того, чтобы его *показать*, то безрассудно» (там же; курсив Жуковского).

Полученное через два месяца письмо Вяземского стало, таким образом, для Пушкина своеобразным сигналом от друзей, что время договариваться с правительством пришло. В повторном обращении к поэту от 31 июля 1826 г. Вяземский говорит об этом еще более определенно, снова объясняя, почему он так считает: «Ты имеешь права не сомнительные на внимание, ибо остался неприкосновен в общей буре» (XIII, 289).

Так образ морской бури из необязательного сравнения становится важнейшим мотивом переписки Пушкина — Вяземского, поскольку не просто повторяется, но и вписывается в поэтический контекст,— письмо Вяземского от 31 июля содержит стихотворение «Море», где говорится о волнах:

В вас нет следов житейских бурь,
Следов безумства и гордыни,
И вашей девственной святыни
Не опозорена лазурь.
Кровь братьев не дымится в ней!
На почве, смертным не послушной,
Нет мрачных знамений страстей,
Свирепых в злобе малодушной!

(XIII, 287)

Эта строфа, как известно, вызвала стихотворное возражение Пушкина:

Так море, древний душегубец,
Воспламеняет гений твой?
Ты славишь лирой золотой
Нептуна грозного трезубец.
Не славь его. В наш гнусный век
Седой Нептун Земли союзник.
На всех стихиях человек
Тиран, предатель или узник.

(XIII, 290)

Важнейшей в переписке поэтов становится и тема судьбы. Так, узнав о смерти трехлетнего сына Вяземского, Пушкин отзывается на это: «Судьба не перестает с тобою проказить. Не

сердись на нее. <...> Представь себе ее огромной обезьяной, которой дана полная воля. Кто посадит ее на цепь? не ты, не я, никто» (XIII, 278).

Мысль о возможности прямого обращения к правительству возникла у Пушкина еще до совета Вяземского. Во второй половине мая он писал императору: «Ныне с надеждой на Великодушие Вашего величества, с истинным раскаянием и с твердым намерением не противуречить моими мнениями общепринятому порядку (в чем и готов обязаться подпискою и честным словом)...» (XIII, 283). Это полное внутреннего достоинства письмо остается без ответа, а Вяземский находит его «сухим и холодным» и советует написать другое, адресовав его в Москву, где должна была состояться коронация.

Этот совет доходит до поэта сразу же после потрясшего его известия о казни декабристов. «Ты находишь письмо мое холодным и сухим,— отвечает он Вяземскому 14 августа 1826 г.— Иначе и быть невозможно. Благо написано. Теперь у меня перо не повернулось бы» (XIII, 291).

Итак, второе письмо с предложением компромисса правительству принципиально не было написано. Более того, этот ответ Вяземскому от 14 августа и содержит в себе стихотворение «Так море, древний душегубец...», одно из самых горьких в пушкинском творчестве. А чтобы ни у Вяземского, ни у возможных перлюстраторов письма не оставалось сомнений, по какому поводу оно написано, Пушкин сопровождает стихотворение следующим комментарием: «Правда ли, что Николая Т.<ургенева> привезли на корабле в П.<етер> Б.<ург>? Вот какво море наше хваленое!» (XIII, 291).

Такое поведение, вопреки призывам друзей к скромности и раскаянию, являлось несомненным вызовом правительству. И Пушкин сознательно идет на него, несмотря на то что уже в середине июля молчание императора расценивается им как знак в высшей степени неблагоприятный: «Если б я был потребован комиссией, то я бы конечно оправдался, но меня оставили в покое, и, кажется, это не к добру» (XIII, 286). В этом же письме поэт горько пеняет Вяземскому за дурной отзыв о декабристах: «Кого ты называешь сорванцами и подлецами? Ах, милый... слышишь обвинение, не слыша оправдания, и решишь: это Шемакин суд» (там же). Пушкин прекрасно знает, что за ним следят, а уж в том, что письма его читают, имел случай убедиться не раз. Поэтому приезд фельдъегеря в Михайловское и поездку в Москву под конвоем он считает арестом. У Н. И. Лорера были основания утверждать (со слов Л. С. Пушкина): «Зная за

собой несколько либеральных выходов, Пушкин был убежден, что увезут его прямо в Сибирь»⁹.

Тем более неожиданным оказалось свидание с Николаем I, завершение ссылки, освобождение от цензуры. . .

«Исторический шквал, потрясший русское общество 14 декабря,— пишет В. Э. Вацуро,— в личной судьбе Пушкина обернулся сцеплением случайностей. Шесть лет никакие хлопоты друзей не могли освободить его, сосланного без прямого политического преступления и при отсутствии твердых улик. Сейчас, когда появилась несомненная улика — показания арестованных заговорщиков (<...> его освобождают и обещают покровительство. Все происходит в единый момент, неожиданно и чудовищно парадоксально»¹⁰.

О знаменитом свидании Пушкина с Николаем I, состоявшемся сразу по прибытии Пушкина в Москву, мы знаем из нескольких источников¹¹. Каждое свидетельство отличается от других теми или иными акцентами. Воспоминания, записанные со слов самого императора, свидетельствуют о том, что от него не ускользнули долгие колебания Пушкина по поводу предложенного ему компромисса: «На вопрос мой, переменялся ли его образ мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать иначе, если я пущу его на волю, он наговорил мне пропасть комплиментов насчет 14 декабря, но очень долго колебался прямым ответом и только после длинного молчания протянул руку, с обещанием — сделаться другим»¹².

Несомненно, что колебания Пушкина не в последнюю очередь были вызваны желанием оценить реальный вес уступок, которых потребует от него «царская милость». Согласие же определялось надеждой, что их не потребуются слишком много, и убеждением, что *пока* ничем жертвовать не пришлось. Поэтому в первые сентябрьские недели 1826 г. освобождение представляется Пушкину неожиданным подарком судьбы. Тема судьбы, как уже отмечалось, занимает важнейшее место в его разговорах этого времени. «Теперь должно начаться счастье», — признается он Д. В. Веневитинову¹³.

Совсем иначе освобождение поэта и внешние проявления «царской милости» были восприняты определенной частью мос-

⁹ Лорер Н. И. Записки моего времени//Лорер Н. И. Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 204.

¹⁰ Вацуро В. Э. Пушкин в сознании современников//Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т. 1. С. 12.

¹¹ Обзор их см.: Эйдельман Н. Я. Пушкин: Из биографии и творчества. М., 1987. С. 18—24.

¹² Корф М. А. Записки//Рус. старина. 1900. Т. 101. С. 574.

¹³ Погодин М. П. Из «Дневника»//Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т. 2. С. 19.

ковского общества: «Либералы, однако же,—вспоминал Вяземский,—смотрели с неудовольствием на сближение двух претендентов (Николая I и Пушкина.—И. Н.). Начали обвинять Пушкина в измене делу патриотическому; а как лета и опытность возродили в Пушкине обязанность быть воздержаннее в речах своих и осторожнее в действиях, то начали приписывать перемену эту расчетам честолюбия»¹⁴.

К апрелю 1827 г. слух об «измене делу патриотическому» разошелся настолько широко, что когда Михаил Критский предложил избрать поэта в члены создаваемого в Московском университете конспиративного кружка, другой участник этого совещания, Михаил Лушников, возразил: «Пушкин ныне предался большому свету и думает более о модах и остреньких стихах, нежели о благе отечества»¹⁵ Тесно общавшийся в это время с поэтом С. П. Шевырев даже был склонен объяснить отъезд Пушкина из первопрестольной в начале мая 1827 г. тем, что «Москва неблагоприятно поступила с ним. После умеренных похвал и лестных приемов охладели к нему, начали даже клеветать на него, возводить на него обвинения в ласкательстве и даже наущничестве перед государем. Это и было причиной того, что он оставил Москву»¹⁶.

Как видим, с точки зрения и Вяземского, и Шевырева, до лета 1827 г. единственным реальным основанием для «клеветы» было изменение поведения поэта. Это, в частности, может означать, что уже написанные «Стансы» еще ждут своего часа и не известны не только широкой публике, но и друзьям. Между тем люди, знавшие Пушкина коротко, осведомлены, что после внешнего улучшения реальные отношения поэта с властью с конца осени 1826 г. вновь становятся все хуже.

Уже в ноябре, почти сразу после возвращения, поэт почувствовал обратную сторону «царской милости» (Николай, как известно, принял на себя цензорские обязанности). Один за другим следуют выговоры от Бенкендорфа за попытки опубликовать некоторые произведения «обычным путем», без ведома Третьего отделения, и за публичные чтения «Бориса Годунова». 14 ноября трагедия была фактически запрещена к публикации; своим чередом идет уголовное дело об «Андрее Шенье»¹⁷; летом 1827 г. начнется еще одно жандармское следствие о подо-

¹⁴ Вяземский П. А. Биографическое и литературное известие о Пушкине//Там же. Т. 1. С. 127.

¹⁵ Цит. по: Лемке М. К. Тайное общество братьев Критских//Былое. 1906. Июнь. С. 46.

¹⁶ Цит. по: Майков Л. Н. Пушкин. СПб., 1900. С. 350.

¹⁷ См.: Дела III Отделения Собственной Его императорского величества канцелярии об Александре Сергеевиче Пушкине. СПб., 1906. С. 15—17.

зрительной, с точки зрения Бенкендорфа, виньетке к поэме «Цыганы» (здесь был изображен кинжал, разрывающий цепи)¹⁸.

Тот факт, что шеф жандармов усмотрел в стандартном типографском оформлении злонамеренность Пушкина, свидетельствует о недоверчивом и подозрительном отношении властей к поэту. И Пушкин, конечно, это понимает и стремится нормализовать свои отношения с правительством, хотя молва значительно преувеличивает степень его усилий; сам он ни в коей мере не рассматривает как компромиссы ни составление записки «О воспитании», ни объяснения по делу об «Андрее Шенье», ни ответ Бенкендорфу на запрещение «Бориса Годунова» (все это пишется до лета 1827 г.). Правительство же явно усматривает в его действиях противостояние себе.

Видимо, переломным во многих отношениях стало свидание Пушкина с Бенкендорфом, состоявшееся 5 июля 1827 г. Сразу же после него следствие по делу о виньетке к «Цыганам» было прекращено, а «Стансы», лежавшие без движения более полугода, оказались у Бенкендорфа. Таким образом, примирение с правительством произошло, и вечером того же дня шеф жандармов писал императору: «Пушкин (<...>) после свиданья со мной, говорил в Английском клубе с восторгом о Вашем Величестве и заставил лиц, обедавших с ним, пить здоровье Вашего Величества. Он все-таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и его речи, то это будет выгодно»¹⁹.

Автограф «Ариона» имеет дату: 16 июля 1827 г. Несомненно, что этот день в первую очередь переживался поэтом как день, близкий к годовщине казни декабристов (13 июля 1826 г.) Но вместе с тем всего лишь за десять дней до того произошло свидание с Бенкендорфом, событие, давшее Пушкину лишний повод задуматься о своем спасении в «общей буре». М. К. Лемке высказал мнение, что «Арион» явился поэтическим откликом на это свидание («и слабохарактерный, доверчивый Пушкин, не допускаящий и мысли о веденной против него гнусной блокаде, в порыве чувств пишет через десять дней после свидания с Бенкендорфом своего „Ариона“») ²⁰. Можно не соглашаться с категоричностью и односторонностью подобного утверждения, но нельзя отрицать, что оно имеет основание: в процессе работы над стихотворением, после ряда сомнений и колебаний, поэт остановился на варианте «Спасен Дельфином, я пою». Уже относительно давно Ю. М. Соколов осторожно высказал точку зрения о том, что «образ дельфина, на котором спасся поэт, может

¹⁸ Там же. С. 259—261.

¹⁹ Старина и новизна. 1903. Т. 6. С. 6.

²⁰ Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 годов. СПб., 1909. С. 484.

быть, намек на Николая I»²¹. Осторожность явно нелишняя, поскольку в дальнейшем мнение Соколова будет приводиться как пример исследовательского аполитизма: «Это сближение неосновательно,— с пафосом восклицал Г. С. Глебов,— в атмосфере декабрьской трагедии у Пушкина не могла возникнуть мысль о Николае как спасителе»²².

Увы, вопреки утверждению Глебова, мысль о том, что именно Николаю он обязан своим спасением, не только приходила в голову Пушкину,— начиная со второй половины 1827 г. он неоднократно высказывал ее вслух. «Меня должно прозвать или Николаевым, или Николаевичем, ибо без него я бы не жил. Он дал мне жизнь и, что гораздо более, свободу: виват!» — так (по донесению секретного агента) Пушкин определил свое отношение к императору в октябре 1827 г.,²³ и это было не случайное высказывание.

20 июля «Стансы» переданы Бенкендорфу (шаг символический). Чуть позже началось их систематическое распространение в обществе. «За ужином,— доносит полицейский агент,— при рюмке вина, вспыхнула веселость, пели куплеты. <...> Барон Дельвиг подобрал музыку к стансам Пушкина, в коих государь сравнивался с Петром»²⁴. В «Записках» А. О. Смирновой-Россет приводится эпизод, на достоверности которого мы не настаиваем, но который характеризует определенный взгляд на биографию Пушкина 1827—1828 гг.: Пушкин читает Смирновой отрывок из стихотворения А. Шенье «Арион» («Юный Арион, прогони из сердца страх, Причаль к берегам Коринфа; Минерва любит этот тихий берег, Периандр достоин тебя; И глаза твои узрят там мудреца») и добавляет: «Тот, кто говорил со мной в Москве, как отец с сыном, в 1826 г., и есть этот мудрец. <...> Арион пристал к берегу Коринфа»²⁵.

Какой бы смысл Пушкин не вкладывал в стихотворение, распространяя «Стансы», он только усугублял наметившийся еще весной 1827 г. конфликт между ним и либеральной частью русского общества. Однако если тогда в него не были втянуты друзья, то сейчас поэт основательно испортил отношения именно с близкими людьми. Осудил написание «Стансов» и способствовал появлению слухов о том, что они были написаны «за

²¹ Изложение точки зрения Ю. М. Соколова см.: Хроника//Пушкин. М., 1924. С. 291.

²² Глебов Г. С. Об «Арионе»//Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. Л., 1941. Вып. 6. С. 301.

²³ Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. Л., 1925. С. 73.

²⁴ Там же. С. 70.

²⁵ Смирнова-Россет А. О. Записки. Л., 1929. С. 176 (подлинник по-французски).

полчаса, в присутствии государя, в кабинете его величества», А. И. Тургенев²⁶; с упреками в сервиллизме выступил П. А. Катенин²⁷, прервалось общение Пушкина с П. Я. Чаадаевым. Даже отношения с верным Вяземским в начале 1828 г. явно переживают кризис, и дело здесь, как нам представляется, не только в нескольких не вполне благожелательных оценках, данных Вяземским поэме «Цыганы», а прежде всего в том, что рубеж 1827—1828 гг. — это пик оппозиционности Вяземского²⁸, а для Пушкина — период наиболее явных попыток прийти к компромиссу с властью.

Пушкин остро переживает разлад между ним и обществом и понимает, что обнародование «Ариона» со строкой «Спасен Дельфином, я пою», аллюзивный смысл которой не ускользнул бы от современников, только усугубило бы его. Видимо, в этом причина того, что поэт не делает попыток опубликовать стихотворение или же распространить его в копиях. Ситуация требовала от него более прямого ответа, и в начале 1828 г. появляется стихотворение «Друзьям», где отводится обвинение в том, что «Стансы» написаны «по заказу», и утверждается свободный характер творчества. Черновик стихотворения содержит размышления Пушкина на весьма волновавшую его в это время тему «клеветы»: «Я жертва мощной клеветы; Ты знаешь — жертва клеветы; Презрев — ты знаешь — клеветы» (III, 643).

Стихотворение «К друзьям» не способствовало примирению²⁹, однако к 1830 г. отношения поэта с большинством тех, кому оно было адресовано, наладились и окрепли. И только тогда, в июле 1830 г., в 43-м номере «Литературной газеты» был впервые опубликован «Арион», без подписи и с тринадцатой строкой, измененной в четвертый раз. Теперь она звучала так: «Я песни прежние пою».

Какие же обстоятельства сделали возможной публикацию и предопределили ее анонимный характер? Нам представляется, что в первую очередь — новая волна слухов о сервиллизме поэта, инспирированная литературными противниками Пушкина, которые использовали эти слухи как важнейшее средство газетно-журнальной полемики. В марте 1830 г. «Северная пчела» Ф. Булгарина опубликовала «Анекдот», явившийся грубым пасквилем на Пушкина («Бросает рифмами во все священное,

²⁶ Письмо А. И. Тургенева А. И. Михайловскому-Данилевскому от 10 января 1828 г. // Рус. старина. 1890. Дек. С. 747—748.

²⁷ См.: Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1969. С. 74—77.

²⁸ См.: Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский: Жизнь и творчество. Л., 1969. С. 176—177.

²⁹ «Стихи Друзьям просто дрянь», — писал Н. М. Языков в письме А. М. Языкову (Ежегодник Рукописного отдела на 1976 г. Л., 1978. С. 160).

чванится пред чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтоб позволили ему нарядиться в шитый кафтан») ³⁰.

Так клевета сделалась достоянием толпы. Это произошло как раз в тот момент, когда отношения Пушкина с властью вновь испортились, а кризис во взаимоотношениях с друзьями был преодолен и сложилось то, что М. И. Гиллельсон назвал «пушкинским кругом писателей». Выпад Булгарина был мстью поэту за то, что тот не скрывал своего мнения о почтенном издателе «Северной пчелы» как о тайном агенте Третьего отделения; именно Булгарина Пушкин считал жандармским рецензентом «Бориса Годунова», из корыстных соображений отсрочившим публикацию трагедии более чем на год. В начале апреля «Литературная газета» опубликовала статью Пушкина о Видоке, агенте французской политической полиции; в последнем все без труда узнали Булгарина.

В мае журнальная война вступила в новую фазу в связи с публикацией стихотворения Пушкина «К вельможе» ³¹. «Все единогласно пожалели об унижении, какому подверг себя Пушкин», — вспоминал в связи с этим Кс. А. Полевой ³², понимая под «всеми» прежде всего своего брата, Н. А. Полевого, выступившего против Пушкина вместе с Булгариным.

43-й номер «Литературной газеты», в котором был помещен «Арион», почти целиком состоял из ответных реплик писателей пушкинского круга. Стихотворение, написанное тремя годами ранее, нашло здесь свое естественное место и воспринималось как обобщение опыта трудных лет. В нем больше не было и намека на «чудесного спасителя».

Двумя важнейшими мотивами оно перекликается с посланием «К вельможе», вызвавшим такую оживленную полемику. Прежде всего общим стал мотив неожиданной бури. В «Арионе»: «Вдруг лоно волн/Измял с налету вихорь шумный...» (III, 58). В послании «К вельможе» о французской революции: «Все изменилось. Ты видел вихорь бури,/Падение всего, союз ума и фурий...» (III, 219). Другое важное сходство — утверждение неизменной самоценности творческой личности, выключенной из исторического процесса. То, что в «Арионе» изображается Пушкиным как чудесное спасение, в послании «К вельможе» показано как сознательная позиция «героя» стихотворения.

Немаловажен вопрос о том, почему публикация «Ариона» была анонимной. Традиционная версия, объясняющая это об-

³⁰ Сев. пчела. 1830. 11 марта. № 30.

³¹ Лит. газ. 1830. 26 мая. № 30. См. об этом: Вацуро В. Э. «К вельможе»//Стихотворения Пушкина 1820—1830-х годов. Л., 1974. С. 177—213.

³² Николай Полевой: Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л., 1934. С. 304.

стоятельство цензурными причинами, не представляется нам убедительной, поскольку в 1831 г. Пушкин включил стихотворение в список для нового издания своих сочинений.

Анонимный характер публикации «Ариона», сам контекст, в котором стихотворение появилось в печати (в полемическом номере «Литературной газеты»), свидетельствуют о том, что Пушкин хотел избежать биографических «сближений». И дело здесь не только в том, что поэт боялся дать повод для очередных упреков в сервиллизме (хотя очень может быть, что мотив «чудесного спасителя» — Дельфина — исключен из стихотворения именно по этой причине). Представляется, что «Арион» призван был обобщить личный опыт не только Пушкина, но того относительно широкого круга лиц, который в 1830 г. был сплочен А. А. Дельвигом вокруг «Литературной газеты». Действительно, Ф. Н. Глинка, А. А. Бестужев, В. К. Кюхельбекер, П. А. Катенин, П. А. Вяземский, О. М. Сомов — почти каждый из постоянных авторов «Литературной газеты» пережил к этому времени «бурю», ставшую действительно «всеобщей», хотя порой, как это было в случае с Катениным и Вяземским, лишь косвенно связанную с событиями 14 декабря.

О стремлении Пушкина объективизировать смысл стихотворения свидетельствует характер последней правки, когда повсюду он заменил первое лицо («нас», «я») на третье («их», «он»). В этом проявилось, как кажется, желание не столько отстраниться от ситуации, сколько придать ей характер как можно более универсальный и символический. Несомненно, поэт предвидел опасность узкобиографического, а значит и аллегорического, прочтения. Напомним, что незадолго до публикации «Ариона» ему пришлось принять участие в полемике, развернувшейся вокруг «Демона». Большинство критиков увидели в этой пушкинской элегии отражение личного опыта поэта. «[Думаю, что критик ошибся], — отвечал на подобное предположение Пушкин. — Многие того же мнения, иные даже указывали на лицо, которое Пушкин будто бы хотел изобразить в своем странном стихотворении. Кажется, они неправы, по крайней мере вижу я в „Демоне“ цель иную, более нравственную» (1825 г. — XI, 30).

По мысли поэта, дело совсем не в том, отражает или нет стихотворение «Демон» конкретные обстоятельства его жизни, важно и нравственно то, что здесь поэт обобщил духовный опыт своего века: «И Пушкин не хотел ли в своем демоне олицетворить сей дух отрицания или сомнения? и в приятной картине начертал отличительные признаки и печальное влияние оного на нравственность нашего века» (там же). Привязка «Демона» к каким-то конкретным обстоятельствам жизни Пушкина лиша-

ла стихотворение этого обобщающего значения, делала его однозначной аллегорией, а не символом.

Было бы очень соблазнительно обвинить современников поэта в простом непонимании пушкинской поэзии, в неумении оценить универсальный характер его произведений. Однако несомненно, что причиной тому была некоторая инерция читательского восприятия, в значительной степени заданная самим Пушкиным, который в первой половине 1820-х годов стремился создать образ «романтического поэта». Достигалось это простым и действенным способом: например, в письмах поэт намекал издателю (А. А. Бестужеву) и брату (а значит, и всем общим знакомым: «скромность» Льва была хорошо известна), что напечатанные в «Полярной звезде» лирические стихотворения имеют своим адресатом реальную женщину. Подобные же намеки создавали впечатление, что и «Бахчисарайский фонтан» вдохновлен ее образом. По поводу большинства стихотворений Пушкина первой половины 1820-х годов у современников были основания предполагать, что в них заключено интимное признание поэта. Что же касается стихотворения «Демон», то дружеская переписка Пушкина (например, письмо к поэту С. Г. Волконского) бесспорно доказывает, что в узком дружеском кругу поэт действительно называл «демоном» А. Н. Раевского, что запечатлелось в памяти многочисленных мемуаристов и спровоцировало узкобиографическую трактовку произведения, заслонившую более глубокий его смысл.

Трудно сказать, с какого именно момента, но никак не позднее 1827 г., процесс объективизации лирики, всегда характерный для пушкинского творчества, стал доминировать. Это привело к тому, что в его стихотворениях стало маркироваться отражение опыта поколения, исторической эпохи, культуры, как ранее маркировался личный опыт.

Чем объяснить такой поворот в пушкинском творчестве? Возможно, например, тем, что после 14 декабря 1825 г. Пушкин перестал воспринимать свою судьбу как некоторое исключение на фоне относительно благополучных судеб своих современников. Ведь мало кто из них до 1825 г. подвергался таким настойчивым преследованиям правительства. Трагедия, которую пережило большинство пушкинских современников после 14 декабря, показала, что в общем «чолне» было немало людей со сходной судьбой. Несомненно, что это ощущение своей включенности в эпохальные процессы и сделалось важнейшим слагаемым пушкинского историзма, подобно тому как ранее ощущение исключенности (а не исключительности) было основой его романтического субъективизма.

Мифологизация пушкинского творчества подразумевала восприятие биографии и творчества как нерасторжимого единства. В этом проявлялся специфический для мифологического сознания синкретизм слова и действия. Написание каждого лирического стихотворения осмыслялось не просто как обобщение индивидуального опыта поэта, но и рассматривалось читающей публикой как поступок.

С середины 1827 г. такой подход перестал устраивать Пушкина еще и потому, что он противоречил осторожно выбираемой поэтом новой социальной роли. Идеалом здесь стал не Байрон, а Карамзин, для которого принципиальным было выделение «частной жизни» в непроницаемую для публики сферу.

Между тем читатели продолжали воспринимать пушкинские стихотворения в рамках того романтического мифа, который сам поэт фактически инспирировал в первой половине 1820-х годов.

Пушкин боролся с этой инерцией восприятия, стремясь закрыть для широкого читателя доступ к биографическому контексту своих произведений (поэтому «Арион» был опубликован анонимно). Так, наряду с образцами «чистой» лирики появляются такие произведения, как «Стансы» и «Бородинская годовщина», где значимым оказывается надличностное, в форме «национального» например. «Арион» в этом отношении произведение пограничное, любопытное в том отношении, что Пушкин пытался его «демифологизировать», так сказать, «задним числом».

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ О ПУШКИНЕ



Санкт-Петербург
ГУМАНИТАРНОЕ АГЕНТСТВО
"АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ"
1995